



Е. В. де РОБЕРТИ

Ницше: его философия, его социология

Опыт общей характеристики

I

Умственное событие, резко бросающееся в глаза, факт духовной жизни, поражающий нас, как важный и грозный симптом, совершенно необычное положение, занятое мыслью по отношению к миру: вот что, прежде всего, замечаем мы в ницшеанстве, этой скорее скудной «онтологии», но за то роскошно распутившейся «общественной философии».

Поклонники Ницше приветствовали его учение не только как глубокое знамение времени, но и как появление на духовном горизонте человечества, как восшествие на вакантный престол философии новой, оригинальной системы, полной юношеских сил и блеска. Но более трезвая оценка скоро указывает ницшеанству иное место: она низводит и эту систему на степень чисто субъективной, а потому временной, преходящей попытки общего объяснения мира и неразрывно связанных с ним судеб человечества.

Впрочем, едва ли возможно уже теперь произнести какой-либо окончательный приговор над миропониманием Ницше. Я здесь задаюсь несравненно более скромною целью. Я желаю дать будущим историкам мысли, призванным пересмотреть наши суждения, лишь так сказать, простое показание, исходящее от современника и свидетельствующее о том сильном, хотя смешанном, пестром впечатлении, которое Ницше и его взгляды произвели на умы людей последней четверти XIX века.

Основываясь на некоторых заявлениях самого Ницше, многие критики находят, что его личный, умственный и нравственный облик гораздо интереснее его доктрины. Таково,

между прочим, и мнение известного датского историка литературы

Брандеса, который, сравнивая Шопенгауэра и Ницше с Спенсером, Миллем, Бэнном и Льюисом¹, приходит к выводу, что если последние гораздо более замечательны тем, что они сделали, нежели тем, чем они были, то первые, наоборот, более ценны для нас своею личностью, чем своими произведениями. Признаюсь, я не совсем понимаю пользы этого различия, как будто бы очень тонкого, а, в сущности, и поверхностного и не совсем последовательного. Мыслитель важен для нас только идеями, им действительно высказанными; а потому если эти идеи мелки, ничтожны или бледны, то и автор их никогда не сделается тем «великим человеком», о котором Ницше где-то говорит: «В философе кроется то, чего нет в философии: причина многих философий!»

Творчество философа обнимает собою не две более или менее новые и сильные мысли, появляющиеся в его уме (и соединяющие между собою массу мелких фактов), — оно простирается и на систематический порядок, рациональное распределение подобного материала. У Ницше — самые ярые противники его охотно допускают, что это — мысли не мелки, не низки, не вульгарны; но они плохо согласованы между собою, они порою резко сталкиваются, они, по-видимому, текут из различных источников и сохраняют живую связь с противоположными системами, их породившими. Ницше смеется над искусственной симметричностью, над вынужденным порядком, обычными признаками «тяжеловесного духа», отличающего ученого филистера. Но почему воля, направленная на составление и исполнение какого-либо плана, должна считаться чем-то менее субъективным, менее отражающим личный кругозор писателя, чем его знание, наблюдающее, исследующее, разлагающее действительность с целью извлечь из нее внутреннее ядро вещей, отвлеченные идеи и истины? Между тем, именно такая предпосылка и лежит в основе поклонения и преувеличенных похвал, которые обращены к одной личности Ницше, совершенно минувшая его философия.

Я становлюсь в этом беглом очерке на другую точку зрения. В творениях Ницше меня интересуют, главным образом, объективные, постоянные, прочные элементы или составные части его философии и социологии. Только этим элементам я придаю несомненное значение: значение или силу критическую, конечно, гораздо более чем догматическую — но все-таки созидательную.

Ибо так называемое разрушение играет, в области фактов общественных или нравственных, роль во многом сходную с тою, какая принадлежит разложению, химической диссоциации в сфере явлений жизни: в обоих случаях разрушение составляет, очевидно лишь одно из необходимейших звеньев в общей цепи процессов, обуславливающих возможность возрождения и непрерывного, живого творчества.

Нельзя достаточно сильно восставать против грубой ошибки, являющейся одним из самых нелепых предрассудков современного полу-знания в области общественных наук, против ходячего мнения, будто «разрушающая сила всегда к нашим услугам», будто «уничтожение какого-либо общественного строя или учреждения совершается легко и быстро, тогда как его основание или восстановление всегда требуют долгого времени». Флоберовские герои Бувар и Некюше², политики, любят еще повторять, что «человеку нужны века тяжелых усилий, чтобы вновь воздвигнуть то, что он низверг в один день».

Такие речи поражают своей пустотой. Слепые силы природы могут, конечно, наперекор успехам цивилизации, наносить благополучию людей внезапные и жестокие удары; но само человечество относится всегда крайне осторожно к «насаждениям» собственных рук. Люди не скоро и не охотно решаются изменить самый негодный общественный строй, завещанный им далекими предками. Века медленного подкопа, прерываемого постоянными частичными исправлениями, предшествуют в общественной жизни падению малейшей перегородки, не говоря уже о капитальных стенах. Самые грозные ураганы, великие революционные бури поднимают и разносят на ветер, в своих могучих круговоротах, лишь внешнюю пыль и мусор от развалин, давно уже образовавшихся в силу непреложных законов истории и жизни. В этом люди убеждаются как только наступают тишина и усталый покой эпох заурядных.

Повторяю, я придаю лишь ограниченное, второстепенное значение чисто субъективным элементом в философии Ницше. Конечно, справедливая оценка руководящих взглядов писателя не может совершенно упустить из виду многообразных данных так называемого «личного уравнения»; и нам, в следующем изложении, не раз придется считаться с подвижным, страстным темпераментом Ницше, с его болезненной чувствительностью, с его всегда возбужденным, разгоряченным художественным воображением. Но именно потому мы не станем особенно подчеркивать внутренних противоречий и причудливых странностей, то и дело мелькающих в сочинениях Ницше,

подобно огромным уродливым цветам, внезапно выросшим на пышной, слишком тучной ниве. Странности эти всякий легко заметит и без нашего указания. Другое дело — зрелые плоды, конечные результаты того вечного брожения, того крайнего напряжения, той ежечасной затраты — порою даже растраты — живых сил человеческой души, каким представляются нам вся жизнь и кратковременная литературная деятельность Ницше. На них стоит остановиться.

II

Сильные физические страдания, мужественно переносившиеся Ницше и трагическая катастрофа, положившая конец его писательству, увенчав ореолом мученичества его простую и скромную жизнь, — все это способно растрогать до слез самого черствого человека и возбудить в нем смутное чувство горькой обиды. Мы не легко прощаем судьбе ее слепые, бессмысленные удары, ее постоянные вызовы. Но вне этого драматического освещения, биография Ницше совершенно сливается в историю его сочинений. Состоя почти исключительно из типографских дат, она крайне несложна и может быть рассказана в немногих словах. Следующие заимствованные из нее факты заслуживают, как нам кажется, беглого упоминания.

Ницше был образцовым ребенком, «ungeheuer artig, ein wahres Mutterkind», говорит в своих «Записках» его сестра, г-жа Ферстер. Он удивлял и наставников, и товарищей регулярностью своих привычек и своим крайним послушанием. Добровольное подчинение собственных желаний чужой, более сильной воле, и такая же покорность перед обстоятельствами, — вот, по-видимому, черта, преобладавшая в характере этого ярого отрицателя, этого неугомонного бойца. Добрый, тихий, мягкий как воск ребенок превращался последовательно в терпеливого школьника, в внимательного и точного студента, в гражданина, уважавшего власть, законы, всегда готового исполнить малейшие обязанности свои к другим, наконец в человека, без ропота переносившего адские муки болезни, гордо мирившегося с своей печальной судьбой, взиравшего на близкую смерть без радости, но и без страха.

«Сомневаюсь, говорит где-то Ницше, чтобы страдание могло сделать нас лучшими, но знаю наверное, что оно делает нас более глубокими». В этом афоризме философ, может быть, только обобщает свой личный опыт. Действительно, благожела-

тельность Ницше, его безмерная доброта едва ли могли усилиться под влиянием надежного средства — страдания, которое развивает или даже впервые пробуждает эти чувства в душе огромного большинства людей.

В детстве и ранней молодости Ницше обнаруживал чрезвычайную чувствительность. Будучи 10-летним мальчиком он, как рассказывают, залился слезами при известии о падении Севастополя, отказывался не только от игр, но даже от пищи и успокоился лишь воспев в детских, неловких стихах подвиги своих друзей, — русских. Он был и скороспелым, не по летам развитым ребенком; так в тринадцатилетнем возрасте мы его застаем уже решающим — разумеется, самым радикальным образом — задачу о происхождении зла и страдания в мире. На двадцать четвертом году жизни он занимает кафедру классической филологии в Базельском университете. Год спустя, в начале франко-прусской войны, он стремится в ряды германской армии; но совет базельских профессоров отпускает его лишь под условием несения службы в качестве санитаря. Такая вспышка патриотизма у решительного антинационалиста, каким всегда был Ницше, не должна особенно удивлять. Не доказывает ли опыт, что в то время как самый крайний теоретический космополитизм отлично уживается с плодотворной деятельностью в чисто национальном духе, широкоовещательный патриотизм и националистический эгоизм не исключают, при случае, возможности самой низкой практической измены делу собственного народа?

Ницше профессорствует в Базеле в продолжении десяти лет; потом, утомленный ремесленной стороною дела и сильно измученный приступами болезни, покидает кафедру и в течение новых десяти лет, до 1889 г., когда разум его внезапно и навсегда помутился, ведет существование независимое, но в высшей степени одинокое. Жизнь его в этот период времени, с одной стороны, омрачена и угнетена жестокой физической пыткой, а с другой освещена и согрета глубоким счастьем творца, свидетеля быстрого роста вышедшего из его рук творения, которое с каждым днем становится все значительнее, сильнее и краше. Именно в это десятилетие были задуманы и выпущены в свет лучшие его вещи, какой-нибудь десяток книг, но необыкновенно ценных, но написанных, как он сам говорил, кровью автора.

Ницше любил долгие прогулки в горах и на берегу моря, там где, по его словам, сами дороги становятся «задумчивыми». Тут он с детскою радостью весь отдавался своим мечтам и планам. Не один яркий луч южного солнца, не одна струя чис-

того горного воздуха проникли отсюда в книги, писанные им в это время. Но Ницше сочинял с трудом, он далеко не был блестящим импровизатором. Никто из новейших немецких писателей не обрабатывал так тщательно своего слога, и так не старался приобрести того, что современные французы называют художественным письмом, *écriture artiste*. Зато в своих книгах Ницше удивительно искусно обращается с тяжеловесным оружием немецкого философского языка. Он создает свой собственный слог, образный, выразительный, увлекательный, полный страсти и огня. Следуя примеру величайших умов старой Германии, он едко осмеивает понятия, нравы, различные черты характера своих соотечественников; он не щадит и знаменитого немецкого глубокомыслия, *die deutsche Tiefe*, называя его умственной диспепсией, приравнивая его к простому несварению желудка.

Заключительный период в жизни Ницше — носящий уже чисто патологический характер — занимает снова ровно десять лет. Это — время полного безумия, медленной агонии, облегченной, а, может быть, и продолженной нежным уходом и неусыпными заботами его сестры и матери. Последней, как говорят, не раз приходилось слышать из уст своего гениального сына ужасную, разрывающую сердце жалобу: «Мама, я глуп, Mutter, ich bin dumm!» Ницше, переставший мыслить и писать в 45 лет, умер 55 лет, почти вместе с веком, одной из самых заметных личностей которого он навсегда останется. Вот шестистишие, — Ницше, подобно родственному ему по духу французскому философу Гюйо, любил писать стихи — озаглавленное «Ессе Номо» и производящее впечатление портрета автора, писанного им самим:

...Ja, ich weiss woher ich stamme!
 Ungesättigt gleich der Flamme,
 Gluhe und verzehr ich mich.
 Licht wird Alles, was ich fasse,
 Kohle Alles, was ich lasse:
 Flamme bin ich sicherlich!³

III

Ницше думал о себе, что он — мыслитель непонятый, не только толпою, но и тем средним, уже довольно многочисленным меньшинством, которое непосредственно руководит мнениями и вкусом большинства. Одному из главных своих сочи-

нений: «Так говорил Заратустра», которое теперь пользуется огромною популярностью, он дает еще следующее подзаглавие: «Книга для всякого и для никого».

На самом же деле, сочинения Ницше, появившись в свете, возбудили в довольно широких кругах удивление, скоро обратившееся в прямое поклонение. Чувства эти вспыхнули как-то сразу, вдруг, неожиданно. Такое общее увлечение не встречалось со времен Гегеля, Шопенгауэра, Дарвина, Лассаля⁴ и, позднее, Маркса. Из первого же шума выросла громкая и с виду прочная слава. Ницше стал главарем школы, крупным выразителем своей эпохи. И когда, разлученный с своими последователями, вырванный «мертвою хваткою» безумия из мира живых людей, он медленно угасал в столице Гете, в Веймаре, книги его уже переводились на все языки, издания их быстро следовали одно за другим, а критические оценки его сочинений и комментарии к ним размножались без конца, достигнув размеров огромной библиотеки.

Однако, не смотря на внешний блеск успеха и быструю популярность. Ницше, как мне кажется, имел основание относиться с недоверием к зачитывавшейся его книгами публике. И верное чувство руководило им, когда, в письме к своему другу Брандесу, он выражал гордое желание иметь только двух читателей, но таких, которых он мог бы безусловно уважать. Истинная мысль его на каждом шагу искажается или передается неточно и сторонниками и противниками. И впечатление, производимое им на читателей, носит явные следы этих шатаний критики в противоположные стороны. Вульгарное изложение его учения, по всей вероятности, не мало грешит против его внутреннего смысла; но не большим пониманием отличается, по-видимому, и эзотерическая критика посвященных. Не она ли именно выдвинула вперед несколько совершенно различных, часто прямо противоречащих друг другу Ницше? Следует однако заметить, что крайне подвижная, полная драматических контрастов мысль Ницше подавала еще больше поводов, чем некогда мысль Гегеля, к самым противоположным толкованиям.

В своей книге о Вагнере, Ницше приглашает читателя полюбоваться «бедной молодежью, застывшею в одной позе, затаившею дыхание!» «Взгляните, говорит он, на этих вагнеристов: они ничего не смыслят в музыке, — а между тем Вагнер властвует над ними». Но едва ли не то же самое должно сказать и о наиболее горячих приверженцах Ницше в наше время: сколько между ними найдется таких, которые ровно ничего не смыс-

лят в философии, а между тем Ницше является царем и повелителем их сокровеннейших дум и чаяний!

Приведу здесь два небольших образчика ходячих суждений о наиболее характерных тезисах Ницше. Один критик, сам довольно компетентный философ и ученый, убежден, что Ницше, отвергая всякий контроль разума над волей, и вручая верховное руководство деятельностью человека слепой игре инстинктов, дает нашему «я» полный простор и власть самоопределяться согласно с законами физиологической или животной жизни. А другой известный писатель видит в Ницше, наоборот, типичного нового аскета, постоянно проповедывающего самоодоление, самоотречение, поборение наследственных инстинктов — учителя, который самой сильной воли предписывает превзойти себя, стать сверхчеловеческою!

Все главные положения Ницше, все основные течения его мысли подвергались, у его комментаторов, такому же, если не худшему искажению. Ответственность за это, повторяю, ложится, в значительной степени, на самого Ницше. Увлекаемый пылким воображением, он то и дело поддается обаянию красивых форм, приданных им же самим своим тезисам; он не разбирает какие из них существенны и важны, и какие имеют лишь второстепенное, побочное значение: он ставит их рядом, он развивает их с одинаковой заботливостью; он не подчиняет их друг другу, он не старается и согласовать или примирить их между собою: он, напротив, ребячески радуется шуму и треску от их столкновения; во всем он как будто полагается на такт, на чувство справедливости и меры, на логику, на здравый смысл читателя.

IV

Часто приходится слышать, что учение Ницше, и преимущественно его нравственная философия, его теория о сверхчеловеке, есть не что иное, как протест инстинкта — и в особенности инстинкта власти или величия — против разума и логики и их давнего господства в человеческих делах. Говорят еще, что учение Ницше знаменует собою открытое восстание жизни, мира органического, против общества, мира сверхорганического. И в доказательство приводят беспрестанные нападки и вылазки Ницше против «сократического духа, духа тяжело-веса», против всякого рода общественных и нравственных догматизмов.

Будь такой взгляд сколько-нибудь основателен, философию Ницше пришлось бы признать чем-то бесконечно ничтожным и жалким. Но дело в том, что указанное сейчас мнение — глубоко неверно. Конечно, всякий догматизм, даже самый ретроградный, всегда, в конце концов, вызывает к разуму и старается поставить себя и свое право на существование под защиту законов логики. Но могут ли чувства, внушаемые нам врагом, распространяться и на оружие, которым он стремится сразить нас? Должны ли мы, желая выразить противнику презрение, идти к нему на встречу с пустыми руками?

Такой способ борьбы никуда не годится. Сила уступает только силе, и разум, т. е., в сущности конечное превращение, высшая форма той же силы, уступает только разуму. Противопоставлять Конта, Милля, Спенсера, — строгих, трудно уязвимых логиков, их якобы враждебным братьям Гюйо, Толстому, Ибсену или Ницше, нет ни малейшего повода. Последние сражаются под тем же знаменем, что и первые. Скорее можно было бы упрекнуть всех их за то, что они слишком много рассуждают, в ущерб простому наблюдению. Как бы то ни было, впрочем, но если Ницше и восстает с обычным жаром против догматизирующих школ, стремящихся подчинить развитие нравственных идей разумной целесообразности, то он поступает так во имя велений того же чистого разума, он строго логически доказывает, что упомянутая целесообразность всецело сводится к рутинному преобладанию небольшого числа старых, уже сильно поблекших нравственных понятий, возникших в умах наших отдаленных предков под давлением самых элементарных общественных нужд. «Императивная» теория, нагло притязающая на изъятие идеи «долга» из-под властного контроля опыта, имеет в глазах Ницше лишь значение наивного отказа подчиниться безапелляционному приговору, поставленному разумом в силу законов логики. Перед этим верховным судилищем так называемый «долг» обращается в простой, хотя и характерный эпизод тонкой дипломатической игры, которую, сталкиваясь при различных обстоятельствах, ведут друг против друга, ради приискания сносного *modus vivendi*⁵, душевные силы и энергии различных личностей. «Мы желаем, — говорит Ницше в книге, озаглавленной “Заря”⁶, — восстановить нашу нарушенную духовную независимость, противопоставляя сделанному для нас другими нечто, что мы делаем для других. Ибо другие вторглись в сферу нашей автономии и могли бы прочно утвердиться в ней, если б путем исполнения так называемого “долга” мы не платили им тою же монетою, мы не вторгались в сфе-

ру их собственного влияния». Вот объяснение, может быть, и не исчерпывающее вопроса, но носящее, во всяком случае, ярко рационалистический характер. В тонком расчете, о котором говорит Ницше, уже конечно не рассудок подчиняется инстинкту, а инстинкт является послушным слугою рассудка.

Ницше — прежде всего логик. «Какое мне дело до возражений?» — восклицает он почти негодующим тоном в предисловии к «Генеалогии нравственности». Эти слова, подобно другим выходкам Ницше в том же роде, были поняты буквально. И многие вполне искренно пришли к выводу, что философия Ницше является чем-то вроде сплошного междометия, глухого стоны боли, затаенной жалобы нежной, благородной натуры, которую коробит от прикосновения с грубой действительностью. Но такой взгляд — глубоко ошибочен. Все книги Ницше носят характер чисто полемический: это — бесконечная вереница возражений и опровержений, выдавать которую за голый протест никоим образом нельзя.

Наиболее трудные проблемы всегда особенно привлекали к себе Ницше. Попробовать на них свои силы было для него истинным наслаждением. Он тщательно выбирает своих противников. Он не вступает в борьбу с первым встречным. Он формулирует следующим образом три главные правила той беспощадной партизанской войны, которую он так неутомимо вел против официальных учений и прославленных философов: «1) Я сражаюсь лишь с победоносным врагом и иногда терпеливо выжидаю, пока он станет таковым; 2) я нападаю на врага лишь тогда, когда не нахожу союзников, способных помочь мне, когда чувствую себя одиноким, когда риск борьбы и вся ответственность за нее ложатся на меня одного; и 3) я не сделал ни одного шага публично, я не брался ни за одно дело, которые бы меня тотчас же не компрометировали. Таково мое мерило справедливого поведения». Эти гордые слова не были пустым хвастовством. Они выражают сущую правду и могли бы служить эпиграфом для любого сочинения Ницше, который в некоторых отношениях является, действительно, чем-то в роде Дон-Кихота общей мысли века, одной из благороднейших фигур, вместе с Паскалем, Декартом, Спинозой, великой философской эпопеи последних трех столетий. Но Дон-Кихот новейшей философии уже не принимает, подобно герою Сервантеса, трактирных служанок за принцесс, и ветряные мельницы, против которых он выступает в поход, являются почти всегда несомненными оплотами человеческого безумия, жестокости и невежества.

Строгий логик Ницше часто противоречит себе. Он жестоко оскорбляет богов, которым сам же поклонялся, или вновь водворяет их в храмы, им незадолго перед тем оскверненные. Он является иногда посредственным наблюдателем, он злоупотребляет отвлечениями и метафорами, он накидывает апокалипсическую темь на самые ясные вещи. Все это так, все это верно. Но где тот праведник, который решится бросить в него первый камень? Герои упорной и сильной мысли имеют, по меньшей мере, такое же право на всепрощение, как и герои и героини многократной или страстной любви.

Ницше был прежде всего великим сеятелем идей, изобретателем новых мнений, возбудителем оригинальных взглядов. И в этом отношении я не могу не согласиться с некоторыми выводами, к которым приходит французский ученый Полан (Paulhan) в небольшой книге, недавно вышедшей в свет под заглавием «Психология изобретения». Полан в мельчайших подробностях описывает различные фазисы, чрез которые проходит процесс творчества и ту междоусобицу идей и чувств, которая при этом вспыхивает в умах наиболее оригинальных и даровитых. Автор ни разу не упоминает имени немецкого философа, которого он, по всей вероятности, не имел вовсе в виду, а между тем многие главы его книги производят такое впечатление, будто они написаны с специальною целью выяснить истинную сущность таланта Ницше.

Я прошу позволения цитировать здесь несколько мест из книги Полана. Ссылки эти избавят меня от необходимости пространно комментировать противоречия действительные или мнимые, которыми изобилуют сочинения Ницше.

По мнению Полана, «логические дефекты, часто портящие произведения самых сильных и оригинальных умов (и преимущественно, прибавляет он, первых инициаторов или “предтеч”), являются необходимым продуктом упорной борьбы, завязывающейся в мозгу таких людей между новой идеей и старыми умственными привычками, обусловленными воспитанием, средою, наследственными влияниями». «Гений, — говорит Полан, — только в редких случаях способен идти до конца своего изобретения или измышления. Он склонен, с одной стороны, к утрировке некоторых личных взглядов, а с другой, к сохранению множества остатков и пережитков прежних состояний сознания... Новая мысль поминутно выходит из своей колеи, она ищет поддержки на право и на лево... Ложные идеи умов сильных гораздо более многочисленны и более устойчивы, чем ошибочные мысли, возникающие в умах бедных или

слабых: они всегда обращают на себя более внимания, чем верные, логически построенные рассуждения; они к тому же нередко выдаются противниками за признаки умственного расстройства...»

Полан старается доказать, что новая мысль требует одновременно логических и нелогических действий или ходов ума. «Логика, — говорит он, — тут дело существенное, так как всякое изобретение есть, по природе своей, систематизация. Но последняя, именно по причине своей новизны (отличающей ее от инстинкта, действующего с автоматической правильностью), неизбежно вызывает диссоциации, нарушения привычного течения мыслей, столкновения, составляющие уже частичные ил-логизмы... Взятое само по себе, сколько-нибудь значительное умственное творчество всегда несовершенно и беспорядочно»... Полан даже замечает не без оттенка грусти, «что новизна и важность, внутренняя ценность измышления или изобретения должны, как кажется, измеряться количеством заблуждений и противоречий, в которые впадает их автор...» *.

Натура искренняя, открытая, прямая, Ницше и сам отдавал себе отчет в деспотическом гнете, который оказывали на него оригинальные идеи, внезапно озарявшие его ум. Он сознавал, что часто являлся скорее покорным рабом, чем господином своих собственных мыслей. Он почти кается в том, что слишком долго оставался в подготовительном фазисе развития, который он называет «катилинарным существованием», и который он изображает как смесь ненависти, мести, возмущения против всего окончательно сформировавшегося, цветущего, не нуждающегося в дальнейшем усовершенствовании. Частые перемены в своих взглядах (никогда однако не носившие характера отречений или отступничества) он старается оправдать, сравнивая себя с змеей, которая умирает, если не может сбросить старой чешуи. «Точно таким же образом, — говорит он, — умы, которых принуждают или которые сами себя принуждают никогда не менять своих взглядов, перестают быть умами». — «Я хорошо знаю, — добродушно заявляет он еще в своих «Несвоевременных рассуждениях», — что мои сочинения обнаруживают дилетанта и что моя мысль еще не созрела... Позже, лет через пять, я постараюсь избавиться от всякой полемики и примус за настоящее дело...» Но в незрелости руководящих идей Ницше

* *Pauthan F. Psychologie de l'invention. Paris: Mean, 1901. P. 138, 145, 170, 183.*

и кроется, может стать, разгадка их бесспорного обаяния, их великой чарующей силы. Они влекут нас к себе как все молодое, беззаботное, вызывающее к новой жизни, полное надежд.

V

В какой мере Ницше был продуктом и выражением окружающей его среды и той эпохи, в которую он жил? В нем, между прочим, хотели видеть философа новой германской Империи, — внезапного проявления, одновременно, — и долго сдерживаемой грубой материальной силы великого племени, и скрытой жизнеспособности его, искавшей себе широкого выхода. Утверждают, что подобно тому, как хронический пессимизм Шопенгауэра нашел громкое эхо в Германии и повсюду в Европе вследствие того, что в нем сказалось пониженное моральное настроение, овладевшее умами из-за разбитых надежд 1848 года, так и преувеличенный, отчасти искусственный и, в сущности, материалистический или позитивный оптимизм Ницше, его резкая защита прав жизни и верховенства инстинкта над разумом, практической деятельности над теоретической, — были лишь философским выражением новых веяний в умственной жизни Германии, медленно подготавливавшихся всей историей века и быстро проявлявшихся после громового удара 1870 года.

Взгляд этот содержит в себе известную долю истины. Но его надо, мне кажется, расширить или обобщить. Философия Ницше не есть продукт совместной работы его умственного темперамента с одним только духовным «я» немецкого народа. Нельзя, без явной несправедливости, исключить, выделить из этого сотрудничества современников философа в других странах Европы. В мысли и в произведениях Ницше отражаются, как в зеркале, некоторые умственные потребности, некоторые нравственные черты и стремления всей нашей эпохи.

Но если это так, то наше время несомненно следует причислить к наиболее сознательным периодам в истории. Ибо никто не восставал так страстно, с такой необыкновенной горячностью против главного недуга, подтачивающего здоровье и силы современных обществ, как именно Ницше. Лихое зло это он видит в ослаблении индивидуальности, в развитии стадного или казарменного духа, в царящих повсюду вялости и безволии, во всеобщей трусости перед страданием, в боязни всякого, не совсем заурядного напряжения сил. У Ницше не хватает

слов, чтобы изобразить презрение, внушаемое ему домашним животным, простою головой в стаде — *das zahme Hausthier ein Stück Herdevien*⁷ — какими сделался человек в наше время. Созерцание этого «царя природы» буквально вызывает у него чувство тошноты. Скопление демократических посредственностей, уверяет он, распространяет далеко вокруг себя зловоние и вредные испарения... И Ницше кончает тем, что, затыкая себе нос, громко кричит: «дайте мне воздуха, свежего воздуха»!

Крик этот, весьма знаменателен. С такою силою он раздается, в течении последних ста лет, уже во второй раз. После страстной проповеди Руссо на тему о возвращении к здоровой природе, язвительные насмешки Ницше, его жестокие нападки на искусственность современного общественного строя! И каждый раз, личность проповедника становится популярною, а учение его находит широкое распространение. Все это, что-нибудь да значит. Но такое явление не заключает в себе ровно ничего опасного для ближайшей будущности европейской цивилизации. Напротив, оно знаменует, как мне кажется, шаг вперед на пути, ведущем человечество от первобытного или так называемого естественного состояния к усиленной, более напряженной общественности.

В продолжительном увлечении наших прадедов декламациями Жан-Жака Руссо, равно как и в чувстве удовольствия внутреннего удовлетворения, которое многие современники испытывают, читая едкие, полные желчи филиппики Ницше, я вижу протест, пока еще, конечно, только слабый и смутный, против грубого эмпиризма, еще безусловно господствующего в мире нравственном и кладущего свой отпечаток на все общественные отношения. Но эмпиризм — царство случая и непредвидимых разумом конъюнктур — стоит, без сомнения, гораздо ближе к той естественной первобытности, о которой мечтают Руссо и Ницше, чем теоретическое знание, отвлеченная наука, тщательно изгоняющие всякую случайность из различных областей мысли и дела.

Если хорошенько вдуматься в значение таких терминов, как «искусственное, неестественное», то едва ли можно найти в них больше смысла, чем в слове «сверхъестественное». Общественность, цивилизация лишь продолжают и довершают дело, начатое физиологическою, животною жизнью, которая, в свою очередь, продолжает и завершает процессы, имеющие своей исходной точкой химические свойства материи, и так далее. Ни в обществе, ни в уме человека ничто не может совершаться наперекор непреложным законам, управляющим обществен-

ными и психическими явлениями. Но факты и события, происходящие в этих двух, тесно соприкасающихся областях, никогда не колеблют силы законов, управляющих всеми другими разрядами явлений. Это однако не мешает нам постоянно употреблять такие выражения, как случайный или искусственный, неестественный. Лишенные всякого положительного содержания, термины эти только успокаивают или тешат наше самлюбие. Они позволяют нам не сознаваться прямо в круглом невежестве, в особенности в вопросах нравственности и общечеловечности, и они скрашивают жалкий характер средств, которыми люди стараются помочь такому незнанию. С этой оговоркой, однако, суждений искусственного характера учреждений, обычаев, нравов, ни мало не заслуживает упрека в отсталости или ненаучном складе ума. В этом отношении современные социологи напрасно отрекаются от всякой солидарности с Руссо или Ницше. Ученые филистимляне, как любил называть их Ницше, не должны импонировать нам своими пустыми фразами об уважении, с которым-де следует относиться к истории и ее явлениям.

Благоговейное преклонение перед всеми безразлично историческими фактами есть вернейший признак полного непонимания истинного смысла общественной эволюции. Наоборот, низкая, даже презрительная оценка тех или других продуктов времени прекрасно уживается, вполне совместима с сознанием непреложности законов природы. Глупые и пошлые поступки людей объясняются, в конце концов, игрою тех же скрытых побуждений и сил, какими объясняются действия осмысленные и решения разумные. И то же самое происходит во всех без исключения категориях фактов, изучаемых наукою: здоровые отправления и ненормальное, болезненное состояние наших органов, сводятся к причинам, управляемым одинаковым биологическими законами; последовательная смена дня и ночи зависит от неизменного повторения одного и того же астрономического факта, и так далее.

Но разве, под предлогом уважения к законам астрономии или физиологии, можно требовать от естествоиспытателя, чтоб он не предпочитал дневного света ночной тьме, или чтоб он отказался от всяких забот о своем здоровье? Такою же бессмыслицей является и запрет, обращаемый иногда к историку и обществуведо — не квалифицировать этически, т. е., в сущности, социологически тех или других общественных фактов. Первый, самый робкий шаг науки, классификация вещей, есть уже и первый разумный суд над ними.

VI

Ницше были глубоко противны всякое лицемерие, всякая двойственность, малейшее самоунижение в области мысли, чувства, дела. Он не терпел их нигде: ни в науке, в которой фарисейство давно уже успело свить себе теплое гнездо, ни в философии, куда двусмысленность и двуязычность проникли из науки, ни в искусстве, которое слишком часто отражало двойную фальшь знания и миропонимания, ни в практической жизни и деятельности, где тройная ложь научная, философская, эстетическая дала густой осадок повального двуличия и взаимного, а потому особенно бессмысленного притеснения. Всей этой лжи, накопленной веками, теоретической и житейской, исторической и современной, Ницше противопоставляет одну истину, истину в единственном числе. В ней он видит верховное средство от всех зол, подавляющих человечество.

Великую, всеобъемлющую истину эту — в единственном числе — мир знает уже давно: она часто ослепляла людей своим блеском, невыносимым для слабых глаз; люди, собственно говоря, никогда не забывали ее. Но они давали ей другое имя, они не называли ее истиной, они строго отличали ее от самых общих истин наук математических, физико-химических, биологических и даже общественных. Она выделялась у них в особый разряд понятий; она носила здесь и продолжает носить название — свободы.

Ницше, по моему мнению, схватывает сущность идеи свободы и огромного ряда явлений, обобщаемых этим понятием, гораздо лучше, чем многие новейшие мыслители. Я не говорю об известной расправе его с старым метафизическим призраком свободной воли. Призрак этот давно уже дышал на ладан и доколачивал его Ницше, как мне кажется, из чистого к нему сострадания. Но яркий детерминист Ницше, сверх того, всей своей философской деятельностью ставит другой вопрос, имеющий именно в наше время особенно важное значение: — капитальный вопрос о взаимных отношениях знания или науки и свободы.

Действительно, миропонимание Ницше, если хорошенько вдуматься в него, в главных своих частях и преимущественно, разумеется, в теории познания и в этике, выдвигает на первый план, ставя ее ребром, следующую тревожную и, если мерить на обыкновенный аршин, странную, как будто даже дикую проблему: не может ли абсолютная, безграничная свобода заменить нам наше относительное, всегда ограниченное знание?

И не в этой ли замене кроется тайный смысл и конечная цель медленного саморазвития и усовершенствования человечества?

На мой взгляд, раскрываемая мыслью Ницше антиномия между наукой и свободой имеет глубокий смысл и первостепенное значение. К ней нельзя относиться пренебрежительно, как у пустой метафизической забаве.

Антиномии играют в развитии и успехах философии ту же роль, какую гипотезы играют в развитии и успехах частных наук. И на обязанности философа лежит — устранять возникающие в области общей мысли антиномии, как на обязанности ученого лежит поверять возникающие в его специальной сфере гипотезы.

К сожалению, философия Ницше не идет дальше довольно смутного противопоставления абсолютной свободы относительному знанию. Она не разрешает возникшего на почве ее собственных критических исследований основного сомнения. Пытливая мысль Ницше, как известно, долго билась в тонкой сети софизмов, сотканной Кантом в его Критике чистого разума. Она прорвала, она прорешетила эту сеть во многих местах. Но она не успела выпутаться из нее окончательно. Ницше все еще, по временам, является пленником кантовской теории познания.

Между тем, не подлежит сомнению, как мне кажется, что новая антиномия может и должна быть устранена, подобно ее предшественницам, подобно, например, противопоставлению субъекта объекту, нумена феномену, и природы или вселенной Богу, с помощью логического или, вернее, психологического закона о конечном тождестве всех высших, родовых отвлечений нашего ума. Закон этот составляет одно из основных положений неопозитивизма, называемого иногда еще логическим монизмом.

С точки зрения, усвоенной себе этой последней философией, о какой-либо замене знания свободой, или наоборот, свободы — знанием, уже потому не может быть речи, что оба понятия эти вполне тождественны, равнозначны. Они обнимают и покрывают собою одну и ту же сумму явлений. Достигнув известной высоты, наше умозрение решительно не в состоянии отличить реальное содержание одного из этих концептов от содержания другого.

Но этого мало. Даже сойдя вниз по лестнице отвлечений, и притом на столько ступеней, сколько нужно, чтобы столкнуться, чтобы очутиться лицом к лицу с так называемой конкретной действительностью, наша мысль упорно отказывается

признать существование между идеей знания и идеей свободы какого-либо иного отношения, кроме того, которое естественно и необходимо связывает причину со следствием. А коренное тождество причины и следствия уже давно пользуется в современной философии славой бесспорной, аксиоматической истины.

Что такое свобода в глазах убежденного детерминиста? Разумеется, не что иное, как сила или власть человека над природой, над самим собою, над обстоятельствами. А что такое знание, которое в высшей, научной форме своей, вне строгого детерминизма, совершенно немыслимо? Не составляет ли оно единственный источник, постоянную и прямую причину всякой силы или власти? Но если так, то знание и свобода суть только два близко соприкасающиеся, непосредственно следующие друг за другом момента в развитии одного и того же общественного явления. Говоря языком Аристотеля и старых схоластиков, знание есть свобода *in potentia*, а свобода есть знание *in actu*.⁸ Дуализм, последний оплот религиозной мысли и агностической метафизики, должен пасть и к социологии, как он рушился в биологии, где, например, наивное учение о душе, отличной от общей совокупности жизненных отправлений и обитающей в теле, как жилец в квартире едва ли находит теперь много сторонников.

История человечества в малейших подробностях подтверждает справедливость нашего мнения. Она наглядно, миллионными бьющих в глаза примеров доказывает, что незнание всегда роковым образом принимало в человеческих обществах форму слабости и дряблости, именуемой угнетением, деспотизмом, а увеличение знания неизменно выражалось в тех же обществах умножением силы или власти, называемой свободой. Но история не менее твердо и прочно устанавливает и наличность обратного течения: от деспотизма к невежеству, и от свободы, преимущественно от той крупной разновидности ее, которая носит название свободы политической, к процветанию знания, к научному прогрессу. В этом смысле Ницше был глубоко прав, замечая, что ученый, хоть сколько-нибудь умножающий сумму знания в мире, есть, по самой природе вещей, опасный революционер. Да, но с нашей точки зрения не менее верно и то, что общественный деятель, хоть на йоту увеличивший в мире сумму свободы, является, по самой природе вещей, работником и строителем научного здания, инициатором, зачинщиком длинного ряда просветительных успехов и завоеваний.

VII

Многие критики горячо оспаривают у Ницше право считаться философом на том, будто бы, основании, что его хаотический ум, неспособный к строгой систематизации, враждебно относился к поискам за конечным единством вещей. Я не стану терять времени на опровержение этого предвзятого и явно несправедливого мнения, опирающегося на весьма узкое понимание истинных задач философии.

Ницше был философом в обычном смысле этого слова, унаследованном от эпохи, когда философия еще не отделялась ни от науки, застывшей в своей начальной, эмпирической фазе, ни от искусства, ею вдохновляемого и направляемого. Подобно некоторым другим писателям, подобно, например Ренану и Гюйо. Ницше является сторонником учения о господстве «мудрости» над знанием, «мудрости, говорит он, которая, не поддаваясь обманчивым призракам научного опыта, смело устремляет свой взор на целостный образ мира. Этика, в частности, еще сливается в глазах Ницше с философией, на которую он взваливает трудное дело исследования и тщательной расценки главных общественных и нравственных ценностей.

Философия, по мнению Ницше, призвана создавать культуру. Она, одновременно, и судья жизни, и преобразовательница ее. Задача ее сводится, в конечном результате, к преследованию следующей цели: увериться в степени постоянства, свойственного различным категориям явлений, для того, чтобы, опираясь на такое знание, приступить к улучшению изменяемых элементов бытия.

Настоящие философы, утверждает Ницше, — повелители и законодатели; они говорят: да будет так. Они заранее определяют пути, по которым пойдет человечество и те причины, которые должны помешать людям избрать иную дорогу. Их познания — творчество, их творчество — законодательство, их жажда истины — стремление к могуществу. Философия создает вселенную по собственному образу и подобию. Она — тирания, безмерное властолюбие, попытка переделать мир путем открытия его первой причины. Философ — это «герой завтрашнего и послезавтрашнего дня»; он неизменный враг всех идеалов современности. «До сих пор, говорит еще Ницше, все эти чрезвычайные покровители человека, именуемые философами, считали за честь и за долг быть нечистой совестью своей эпохи». И тайна их силы всегда состояла в том, что они изобретали «новое величие» для человека и искали новые пути для осу-

ществления своей мечты. Только умы сильные и достаточно просвещенные могут взяться за трудное и великое дело коренной переоценки всех ценностей, созданных веками и окруженных глубоким уважением миллионов людей. Сами философы, поэтому — люди, живущие исключительно для будущего, насилующие волю тысячелетий; они «убийцы прошедшего, кощунники, выкапыватели священных гробниц, искусители современных поколений, Цезари и деспоты прогресса»!

Эти взгляды Ницше на роль философии и философов содержат в себе, рядом с частицей истины, и крупную долю заблуждения. Последняя заключается в отказе допустить, что верховное руководство принадлежит, в конце концов, одному только знанию. Наука была источником, давшим начало религиям и философия, которые потом управляли миром. Но самое неограниченное господство и тех и других было только властью по передоверию или заместительству. Эти тираны и мучители — иногда впрочем вовсе не столь страшные — имели владычицу, которая, охотно оставаясь за кулисами, тем не менее всецело распоряжалась их судьбою. С этой оговоркой — существенное значение которой кидается в глаза — портрет философа, нарисованный Ницше, не является простою карикатурой. Повелительный, деспотический характер общих верований — все равно религиозных или философских — есть факт, засвидетельствованный историей и не подлежащий сомнению. Если наука властвует над философией, философия, отчасти разделяющая эту роль с искусством, управляет миром.

С другой стороны, Ницше, который в этом отношении сходится с Гюйо, с Ренаном, с Карлейлем, с Рэскином⁹, с Толстым, с Флобером и даже с Ибсеном — обнаруживает редкие дарования истинного поэта, блестящего художника. Высоко ценя конкретные формы и живые образы, он восторженно приветствует все, что вносит в жизнь новую струю красоты или делает ее интенсивнее. «Пускай докажут мне, патетическим восклицает он в часто цитированной странице, что заблуждение и самообман необходимы для развития и процветания жизни, и я скажу «да», я стану на сторону заблуждения и самообмана. Пускай докажут мне, что инстинкты, которые современная нравственность клеймит названием «дурных», например, суровость, жестокость, хитрость, отважная смелость, воинственный пыл, что все это способно укрепить и развить в человеке жизнь, и я скажу «да», я встану на сторону зла и грехопадения. Пускай докажут мне, что страдание не менее наслаждения содействует воспитанию человечества, и я скажу

«да», я буду приветствовать страдание. Напротив того, я встречу громким «нет» все, что угрожает жизнеспособности человека. И если я открою, что истина, что добродетель, что добро, одним словом, что все ценности, до сих пор глубоко чтимые и уважаемые людьми, ослабляют струны жизни или вредят ей, я скажу «нет» науке и нравственности».

Приводя это место, в одной из частей моей «Этики», я уже имел случай указать на вопиющее противоречие, в которое Ницше бессознательно впадает тут в каждой фразе. Подчиняя свои энергичные «да» и «нет» единственному условию — «пускай мне докажут», Ницше одновременно утверждает и отрицает верховную роль знания.

Ницше, кажется, всегда оставался врагом философских систем. Весьма возможно, что он сознавал свое бессилие положить основание синтетическому построению, способному вполне удовлетворить его. Центральное ядро, вокруг которого кристаллизуются составные элементы любой философской системы, содержит в себе, как общее правило, весьма небольшое число тезисов; и то, что выше всего ценится в философских построениях, единство или согласованность их частей, находится, по-видимому, в обратном отношении к сложности подобного ядра. Одной или двух руководящих идей, если только они не лишены значения, вполне достаточно, чтобы создать успех философской системы и прославить ее автора. Но мозг Ницше, работавший без усталы, плодovitый, изобретательный, необыкновенно богатый частными, детальными идеями, был, надо полагать, совершенно неспособен подпасть нераздельному влиянию какой-либо господствующей мысли. Только раз, одна из тех великих неотступных идей, которыми определяется судьба целой философии, овладела живым умом Ницше и, по-видимому, сумела покорить его себе. Монистический, по существу своему, тезис вечного круговорота или возврата вещей на короткое время пленил и остановил его мысль: беспокойно метавшуюся во все стороны. Тезис этот — не нов, он имеет довольно древнюю историю. В разные времена многие глубокие умы проповедовали и защищали то самое положение, которое легко увлекавшийся Ницше признал грозным парадоксом, скрывавшим в себе страшную тайну бытия. Внезапное раскрытие тайны должно было, думал он, поразить человечество как громом. Но и эта идея о вечной смене одних и тех же явлений, которая, повторяю, могла лечь в основу целого систематического учения, осталась у Ницше в зачаточном виде. В конце

концов, он все-таки не сделался, как мечтал о том, великим пророком «вечного круговорота».

Но если Ницше нельзя причислить к философам, олимпийское величие и невозмутимость которых объясняются заоблачностью вершине где витает их дух, то какое именно место должно быть отведено ему среди мыслителей всех времен и народов? — На этот вопрос пускай отвечают критики по профессии. Я лично уже потому не берусь решить его, что если отрицательные, критические элементы мысли Ницше мне крайне симпатичны, то большинство его положительных тезисов находится в явном противоречии с исходными точками и предпосылками моего собственного мировоззрения. А при таких условиях я боюсь впасть в невольную ошибку и отнеся, например, Ницше к разряду *dii minorum gentium*¹⁰ философии, оказать ему несправедливость. Позвольте мне, поэтому, ограничиться заявлением, что я вижу в Ницше одного из самых благородных мыслителей нашей эпохи. Он обаятельно действует на нас не только частными истинами, им находимыми и облакаемыми в чудные художественные образы, но также и своими заблуждениями и противоречиями, которые всегда будят мысль, толкают ее на след истины и вообще производят впечатление правдивой, чуждой всякого показного тщеславия, исповеди человеческой совести.

Мы уже говорили о том, как мало Ницше боится самых чудовищных противоречий. Ни у одного из новейших мыслителей антитезис так смело и вызывающе не смотрит в глаза тезису. Всякий отвлеченный схематизм представляется Ницше уловкою ума, стремящегося, скрыть, а в сущности, лишь разоблачающего собственную слабость и трусость. Вот почему Ницше никогда не доводит до конца логический процесс отождествления отвлеченных противоположностей. И этою же чертою объясняется, может быть, незрелый и юношески тревожный или непоседный, так сказать, характер, отличающий его философию. По той же причине, монизм Ницше остается очень неопределенным; он в этом отношении похож на монизм Огюста Конта, он принадлежит к той же зачаточной фазе развития; он еще охотно входит в сделку с древним антропоморфизмом, он еще человечен, слишком человечен... (*Menschlich, Allzumenschlich*).

Ницше не дает себе труда формально или логически сблизить между собою те немногие высшие отвлечения, которые у него, как у всех философов, символически представляют бесконечное разнообразие чувственных данных опыта. Ему нравит-

ся, напротив того, ему доставляет удовольствие резкое столкновение таких концептов и всегда кажется, будто он готов, при случае, натравить их друг на друга. Одним словом, наперекор лучшим традициям философии, Ницше принципиально и систематически уклоняется от решения трудной задачи, имеющей целью установить, среди изменчивого внешнего разнообразия явлений, основное единство их внутренней сущности. Он с высокомерием, почти презрительно относится к подобного рода попыткам, на которые смотрит, как на диалектическую игру ума. Но здесь, как всегда человеческий разум мстит за себя и за свое попранное право. За отказом философа, сама философия его в конце концов примиряет многие антиномии, устраняет и сглаживает многие противоречия.

Почти все главные теории Ницше поражают нас следующей неожиданностью: — они в последних своих выводах как будто сами себя отрицают, содействуя торжеству идей казавшихся на первый взгляд, совершенно с ними несовместимыми.

Так, Ницше, упорно требующий суровой строгости к себе и другим, мечущий грома против сострадания, жалости, милосердия, всех обычных, широко распространенных форм любви к ближнему, если приглядеться к нему внимательно, если вникнут в его скрытые побуждения, окажется, пожалуй, на поверку, наиболее искренним и твердым человеколюбом всей нашей эпохи. Что здесь могло вызвать иллюзию, что, в данном случае, могло обмануть нас, внушив мысль о бесповоротном эгоизме Ницше, — так это самая высота или глубина его альтруизма. Действительно, его идеал любви к человечеству уже возвышается над обычным уровнем, достигнутым нравственностью древнего мира и не превзойденным, что бы там ни говорили, христианской моралью; идеал этот переходит также и за черту, на которой останавливается в наше время несколько смущенная и как бы сбившаяся с дороги нравственность светская, порвавшая связь с религией, или независимая мораль так называемых свободных мыслителей. «До тех пор, — говорит Ницше в своей книге “По ту сторону добра и зла”, — пока господствующим критерием полезности в наших нравственных оценках остается польза стадная, приносящая “отдельную” личность в жертву “союзу” личностей, пока главные помыслы наши будут направлены исключительно на поддержку общественной группы, а не на благополучие и счастье ее составных элементов, пока “безнравственное” будет строго приравняться к “опасному для существования общества”, до тех пор нравственность не будет основана на альтруизме и не может назы-

ваться альтруистической». — «Государство, говорил уже раньше Шопенгауэр, есть верх и чудо, лучший образец, последнее слово человеческого эгоизма». Но государство — не мертвое, косное тело: в нем живет дух, превозносимый и прославляемый современниками под именем людской солидарности. Но на эту солидарность Ницше и смотрит, как на старозаветный союз между людьми, как на связь, сотканную не любовью человека к человеку, а прежде всего расчетом обоюдной выгоды, страхом пред возможным возмездием, перед расплатою перед отпором со стороны других. Альтруизм Ницше, таким образом, уже видимо стремится подняться выше простого общинного или общественного, совокупного эгоизма.

Почти то же самое можно сказать и о пессимизме Ницше. Призрачный характер проклятий, посылаемых им скорее по адресу столь трудно вытравимого из нас сознания зла, чем самого зла, признается почти всеми его критиками. На самом деле, Ницше является убежденным оптимистом, человеком, влюбленным в жизнь во всех ее видах и при всех ее условиях. Не колеблясь ни минуты, он кладет в уста самого жалкого чудовища, самого несчастного из людей, в разговоре со смертью, следующий возглас: «Вот это то и есть жизнь; ну, в таком случае, еще раз!» Русский народ, страстотерпец между народами и в некотором смысле ницшеанец до Ницше, давно уже сложил такую же точно поговорку: «Горько, горько, а еще бы столько» (пожить). Наконец, этот ревнитель власти, этот аристократ, этот изобретатель «пафоса расстояния», этот ненавистник демократического стада, этот строгий критик и судья боевых социалистов и анархистов, если хорошенько рассмотреть его подоплеку — по выражению Салтыкова — если вникнуть в глубокий смысл и исходных точек и конечных выводов его страстных филиппик, окажется также, пожалуй, на поверку, революционером чистейшей крови, настоящим демократом, освободителем несчастных, обезличенных и обездоленных, забитых народных масс. Враги и противники его на этот счет ни мало не заблуждались. Не они ли обвиняют его в том, что он «самую основу своей философии заимствовал у анархических учений»-или еще в том, что «он указал русским нигилистам, а также анархистам всех стран, — бельгийцам, итальянцам, испанцам, французам и американцам — на наиболее действительное средство, на самый убедительный аргумент, который может быть противопоставлен косности и неподвижности правящих классов: на аргумент силы?»

Ницше ожидает, а иногда, со свойственными ему увлечением и страстностью прямо-таки требует от будущего — возвеличения всех и каждого. Именно всех и каждого! Неизменным идеалом его была — аристократизация толпы. Внутреннее противоречие, как будто существующее между этими двумя терминами, его не пугало и не останавливало.

Противоречие это он считал лишь историческим недоразумением. Антагонизм между личностью и обществом может быть устранен двумя путями: либо демократизацией, развенчанием властных единиц, избранного меньшинства, либо аристократизацией, возведением и степень сильных личностей всех тех элементов безжизненной массы, именуемой толпой, которые окажутся на то способными (или вернее, в той мере, в какой они окажутся на то способными). На мой взгляд, обе указанные дороги одинаково ведут в социальный Рим равенства, свободы и братства, не на бумаге только и на фронтонах церквей, тюрем, бирж и т. п., а на деле и в самой жизни. Но Ницше имел полное право быть на этот счет другого мнения, и если он думал, что демократизация сильных личностей ведет к сплошному рабству, а аристократизация толпы — к торжеству свободы, то нельзя, мне кажется, винить его за горячность, с которой он отстаивал свой идеал человеческого прогресса; всего менее могут упрекать его за эту страстность те, кто держатся противоположного взгляда, кто с не меньшей односторонностью верят в спасительные свойства одной только полной и общей демократизации.

История конкретная, история в лицах и фактах, движется — нетерпеливые люди могут сказать ползет — вероятно, по обоим путям, доставляя преобладание то одному из них, то, в виде естественной реакции, другому. В течение 19-го столетия человечество несомненно сделало крупный шаг к умалению значения так называемых героев, т. е. всех сильных, властных личностей; но многие признаки — хотя бы например, расцвет теоретического индивидуализма или повсеместное стремление дать народу высшее, университетское образование, или еще огромная популярность таких писателей, как Ницше, Карлейль, Толстой, Ибсен и т. п. позволяют думать, что XX век сделает серьезную попытку и в параллельном — а не противоположном направлении, т. е. в смысле аристократизации толпы.

Знание, основанное на опыте, составляет единственный источник и причину всех перемен, больших и малых, крупных и мелких, в судьбах человечества; но такое живое знание всегда, рано или поздно, разбивает узкие рамки отвлеченного схема-

тизма, в которые мы стараемся заключить его. Историческая правда, в конце концов, не может разойтись с научной, социологической истиной; но последняя — мы ее еще вовсе не видим, а только смутно предугадываем — конечно, не совпадает точка в точку ни с прямолинейным наивным коллективизмом, ни с прямолинейным, наивным индивидуализмом или анархизмом, против которых так резко, забывая их относительную ценность, высказывался Ницше.

Аристократизация толпы, о которой он мечтал, представляется многим задачей неразрешимой, чем-то вроде социологической квадратуры круга. Но разве нельзя сказать того же о демократизации героев? Разве сильная, властная, гениальная личность может перестать быть сильною, властною, гениальною не только в свободном, но и угнетенном обществе? Разве можно прочно развенчать героя иначе, чем возвысив до его умственного и нравственного уровня не-героя? Уже предшественник Ницше, Карлейль, не считает такую цель абсолютно недостижимой. Не говорит ли он где-то: «Я вижу, как готовится самый желанный из результатов: не уничтожение культа героев, а пришествие, вступление на сцену истории целого мира героев. Если героем считать — прямого, искреннего человека, то почему каждому из нас не быть героем?» Но таким же образом каждый из нас может быть аристократом и господином. Ныне господство и власть принадлежит тому, кто числится в высшем общественном классе или кто переходит туда из низшего. Но уничтожьте классы, но искорените «классовый дух», составляющий историческую форму духа рабства, и вы тем самым превратите всех и каждого в господ. Ницше, обращающийся к толпе с увещанием: «Nicht nur fort sollt ihr euch pflaуzen, sondern hinauf! Растите и размножайтесь не только вширь, но и вверх!» — этот Ницше, чтобы там ни говорили, не был антидемократом и антимоциалистом, за которого его постоянно выдают. Если ему и случалось быть врагом народа, то только по методу и рецепту героя известной пьесы Ибсена. Но его социализм очень походит на его альтруизм: оба отвергаются от результатов, достигнутых в этом отношении прошедшим человечеством, оба устремляют взор к великой стране детей, как Ницше красиво и трогательно зовет неизвестное будущее.

То же явление повторяется и в области чистой мысли, например в ницшевской теории познания. И здесь он агностицист и иллюзионист — только в силу крайнего реализма своего. Страстная любовь его к истине принимает иногда болезненные,

причудливые, почти исторические формы. Она приводит его к исповедыванию знаменитой теории, ставящей самообман в основу всякой жизни. Она внушает ему и резкие нападки на науку, недостойную своей великой роли и так часто изменяющей благородному правилу, которым было проникнуто его собственное поведение: «Никогда не спрашивайте, полезна или нет та или другая истина, и может ли она устроить чью-либо судьбу». За самыми жестокими хулами Ницше скрывается пламенный культ истины, неутолимая жажда познания; в этом легко убеждаешься, сравнивая резкие до крайности выходки против науки этого мыслителя, стряхнувшего с себя всякое религиозное иго, с холодными рассуждениями на ту же тему какого-нибудь Брюнетьера¹¹, добровольно вновь продевшего шею в теологическое ярмо.

Наконец, сказанное мною до сих пор еще в большей, может быть, степени справедливо по отношению к так называемому «нравственному нигилизму» Ницше. Умы посредственные и боязливые не прощают ему чересчур неуважительного обращения с буквой, с золотыми правилами ходячей морали, с ее веками освященными идолами. Но, как мне кажется, смелые отрицания Ницше не только не доказывают его полного индифферентизма в вопросах нравственности, а скорее свидетельствуют о страстном стремлении к общественной правде высшего порядка. Никто — за исключением, может статься, Спинозы (но Спиноза всегда сохраняет внешнее спокойствие и объективность) — не любил добра так сильно и так глубоко не ненавидел зла, как Ницше. Правда, он хвалит, и притом в чудесных выражениях, породу людей тщеславных и завистливых: но делает он это вовсе не ради интереса любопытного зрителя, любителя сложных, запутанных драм жизни, как пробовали уверить нас некоторые его последователи, не разобравшие его тонкой иронии. Он просто ждет, что зло, порожденное деятельностью тщеславной или порочною, сделается, в свою очередь, источником нового, еще неизвестного добра, добра высшего порядка в сравнении с существующим. Частые и остроумные выходки его против равенства и человеческого правосудия носят тот же характер. Истинный смысл их открывается путем сопоставления и сравнения их, например, с той беспощадной критикой, которой сплошь и рядом подвергаются в наше время семья, собственность и государство — эти три звериные образа анархического апокалипсиса. В самом деле, можно держаться какого угодно мнения относительно необходимости этих «общественных основ», вчера еще считавшихся установленными

самим божеством, или существующими в силу природы вещей, а сегодня уже признаваемых чистым — или нечистым — делом рук человеческих, — не подлежит, однако, сомнению, что будущая судьба их вполне зависит от тех глубоких изменений, которым подвергнет их твердая, смелая, просвещенная разумом и знанием воля человека.

VIII

Почти 50 лет, целые полвека до появления в печати первых трудов Ницше, другой одинокий мыслитель, Каспар Шмидт, более известный под псевдонимом Макса Штирнера, среди всеобщих тишины и равнодушия, ударил вдруг в набат, бросил тот же громкий клич предостережения и тревоги. За четыре года до февральских событий 1848 г. появилась его небольшая книжка: «*Der Einzelne und sein Eigenthum*», «Единый и его собственность». Читателей у нее почти не было, а те немногие, кто заглянул в нее, в том числе даже Фейербах, против которого велась в ней довольно резкая полемика, не поняли ни истинной мысли, ни великодушных намерений автора. Наиболее снисходительные судьи решили, что Штирнер — сумасшедший. Он к тому же вскоре умер в Берлине, всеми забытый и в крайней нищете.

Ницше, по-видимому, никогда не слышал имени Штирнера. Факт тем более интересный, что несмотря на многие существенные различия во взглядах обоих моралистов и на бесспорное превосходство одного из них, тот же смелый и светлый порыв мысли вдохновляет обоих, побуждая их опередить свое время и обращая взоры их исключительно к будущему. В общей эволюции идей, учение Штирнера играет роль первого посеянного зерна, или слабого саженца, развившегося позднее у Ницше в роскошное, многоветвистое, чудесное дерево.

«Ничто не достоверно, все дозволено» — вещее слово это вырывается из уст Ницше, но оно далеко не чуждо и мысли Штирнера! Не знаю, заимствована ли эта формула, как уверяют, у средневековой секты «ассасинов» — у которой она, во всяком случае, имела другой, чисто практический смысл, — но она дорога для нас тем, что обнажает, так сказать, главный корень мировоззрения, одинаково разделявшегося двумя родственными по духу мыслителями: Ницше и Штирнером.

«Ничто не достоверно, все дозволено», — вот, конечно, простое до-нельзя решение и познавательной, логической, и нрав-

ственной, общественной проблемы; но вот также — утверждение, смелое до дерзости, острое как лезвие хорошо отточенного ножа! Но не в руке ли невменяемого безумца блесит это опасное орудие? И что будет, если он пустит его в ход, если он одним ударом покончит с логикой, а другим порешит с нравственностью? Что мы станем делать потом, как будем жить без этих двух великих вещей, без веры в истину, без надежды на конечное торжество правды? Сердце леденеет от ужаса при одной мысли о возможности подобной катастрофы. Но страх — куда какой плохой советник. Он затуманивает рассудок, он будит в человеке первобытного зверя, он дает инстинкту самосохранения во что бы то ни стало перевес над всеми другими побуждениями. Прислушайтесь к воплям негодования и громким проклятиям, раздающимся по адресу Ницше, величающим его Антихристом, усматривающим в его кратком освободительном возгласе победный крик чистейшего безумия и доказательство полного отсутствия нравственного чувства! А между тем инкриминируемая формула не оскорбляет ни логики, ни нравственности; она, наоборот, является, в одной своей части, логической предпосылкой, обеспечивающей наиболее полное осуществление верховных прав разума, а в другой, — необходимым условием для научного обоснования нравственности вслед за очищением ее от всяких случайных эмпирических примесей.

Масса человечества во многих отношениях похожа на те средние, бесцветные, благоразумные личности, которые подозрительно смотрят на все, что может нарушить их покой, изменить коренным образом их строй жизни, дать новое направление обычному течению их заурядных мыслей и чувствований. Величайшие философские умы испытали это на собственной судьбе. Самые странные, порою нелепые обвинения сыпались современниками на голову и крайне осторожного Декарта и кроткого, терпеливого Спинозы; а похвалы, выпавшие на долю этих философ еще при жизни их, одному, за его механическое объяснение мира и защиту научного скептицизма, а другому, за его попытку геометрического построения нравственности, были весьма и весьма умеренного свойства. Ныне тех же мыслителей пышно венчают лаврами и всячески прославляют. Но то же самое случится рано или поздно с Штирнером и с Ницше. Теории и взгляды, поражающие нас теперь своей странностью, перестанут удивлять наших потомков, покажутся им вполне естественными. Некоторые предсказания этих мыслителей сбудутся, получат значение неоспоримых фактов. Люди признают дальновидность и прозорливость этих первых пионе-

ров. «Надменная гордость» их превратится тогда в «скромное самосознание», а бесстрашие и мужество будут оценены по достоинству. Теперешние обвинения покажутся тогда пустыми и нелепыми придирками. Наши преемники перестанут фарисейски закрывать лицо руками, заслышав те или другие боевые слова и формулы, которым никто уже не будет навязывать, помимо прямого смысла их, еще другое значение, совершенно чуждое им. Но прилагая к изучению законов человеческого познания плодотворный метод гиперболического сомнения, наши потомки скажут с Декартом гораздо более чем с Штирнером и Ницше: ничто не достоверно. Точно так же, вводя в науку о нравственности превосходный методологический принцип, давно известный психологам под именем *tabula rasa*¹², они по необходимости начнут и здесь с ницшеанской аксиомы: все дозволено.

Одним словом, я не думаю, чтоб потомство когда-либо забыло исключительные услуги, оказанные Штирнером и Ницше делу свободной мысли и свободного исследования. Будущие поколения помянут добром в особенности Ницше. Хотя ему и не суждено было самому сделаться Христофором Колумбом нового нравственного мира, — он однако твердо верил в благополучный исход задуманного великого предприятия, он никогда не сомневался в его полной осуществимости. «Идите скорее на ваши корабли», торопит он своих единомышленников в книге под заглавием «Веселое знание», появившейся в 1882 г. «Что нам нужно, без чего мы не можем обойтись, так это новая правда и справедливость! И новое освобождение! И новые философы! Нравственный мир имеет также круглую, шарообразную форму. И моральная земля имеет своих антиподов. И антиподы эти также имеют право на существование! Нам надо открыть целый новый мир, а может быть и несколько миров. Ну же, философы, скорее к вашим кораблям!»

IX

Философ Ницше был вместе с тем и социологом, как философы Декарт и Лейбниц были математиками, как философ Кант был, временами, космологом и астрономом. Конечно, у Ницше, еще смешивающего науку с философией, не всегда легко отделить чисто научные рассуждения от метафизических. Но уже один тот факт, что можно завести речь о подобном разграничении, что этику Ницше трудно целиком включить в его

метафизику, является любопытным знамением времени, указывающим на перемену, происшедшую мало-помалу в руководящих взглядах последних поколений. Ведь всего каких-нибудь сто лет тому назад, строгое отделение нравственности от высшей метафизики казалось совершенной невозможностью, логическим абсурдом; а в настоящее время, и разум философа, и совесть ученого одинаково смущаются и оскорбляются древней зависимостью науки от философии, и нравственности от метафизики. Фигура будущего социолога уже явно вырисовывается и выступает за фигурой нынешнего моралиста, применяющего к исследованию явлений добра и зла, порока и добродетели, обычные методы опытного знания.

Как смотрит Ницше на факты нравственного порядка и на средства достигнуть научного познания их? Объяснить это можно в немногих словах. По мнению Ницше, на свете существует столько различных кодексов нравственности, сколько есть различных типов поведения; или, иначе говоря, не нравственность обуславливает первоначально поведение, а поведение с изначала определяет и порождает нравственность. Последняя есть не что иное, как обычная, традиционная, подражательная деятельность человека в обществе, в сношениях с другими людьми. Поступки и правила поведения, наилучшие приспособленные к обстоятельствам, к окружающим условиям, наиболее дальновидные, соединяющие в нужной степени смелость с осторожностью, одним словом, нравственности сильные, сохраняются, увековечиваются, передаются от одной эпохи к другой; они навязывают свои особенности, свои законы, свои критерии добра и зла способам поведения менее богатым одаренным или нравственностям слабым, возникшим среди той же общественной группы, либо в группах соседних. Добром тут считается все, что благоприятствует привычной деятельности, что придает ей силу и значение, или вернее, что прежде, в старину, делало ее сильнее и могущественнее, — так как добро является всегда сравнительно древней, так сказать уже освященной давностью формою силы. «Подобно тому как раковина, — говорит по этому поводу один из французских учеников Ницше, Готье¹³, — свидетельствует о том, что живой организм когда-то образовал ее как жилище для себя или крепость, так и всякий концепт добра свидетельствует лишь о том, что сильная деятельность когда-то возилась с ним, извлекая из него для себя радость и счастье». Тот же автор резюмирует сущность учения Ницше о нравственности в немногих следующих словах: «Сила — одна только сила — определяет и решает, что

есть добро. Концепт добра всецело заключен в концепте силы; первое понятие прямо зависит от второго, от которого оно и получает всю свою ценность. Сила есть доблестный предок, передающий своему отдаленному потомку, добру, то наследство благородства и те привилегии, которые он сумел приобрести и отстаивать».

Что я думаю об этом понимании нравственности? Оно кажется мне глубоко честным, вполне искренним. Ницше был убежден в его объективной правде: оно, значит, по меньшей мере, субъективно справедливо.

Учение это представляется мне громким протестом против лицемерия, к которому неизменно прибегают глупость и невежество. Протест этот ищет подтверждения в объективных фактах, он желает быть разумно обоснованным, выведенным из данных психологического и исторического опыта. Однако, почти против воли самого Ницше, начавшееся спокойно рассуждение превращается вскоре, в виду окружающей философа всеобщей нравственной трусости и низости, в резкий крик боли и отчаяния.

Вы оглушаете нас — хочет, по-видимому, сказать людям Ницше — своими ламентациями, своими беспрерывными жалобами на старую, избитую тему, будто зло господствует над добром, будто порок царит над добродетелью, будто сила гнетет, давит под ноги право! Но что такое, скажите на милость, ваше добро, ваша добродетель, ваше право? Всмотритесь в них поближе, и вы без труда разглядите в их чертах столько же старых обликов — иногда даже архаических, изношенных, вышедших из моды — той самой силы, против новейших проявлений которой вы подымаете ваши вопли, нелепые и смешные. Поклонники силы во всех ее видах, в самых неожиданных ее превращениях, что побуждает вас вдруг к покрытию вашего идола бранью, к забрасыванию его грязью? Если такая непоследовательность чужда, ну, так подавите в самом себе человека, станьте безжалостными, сделайте сверх-людьми. Не оставайтесь только, подобно Израилю, неизменно верными одному Иегове и не отвергайте, из страха навлечь на себя его гнев, возмещаемого вам нового бога. Соберите последние силы, напрягите мускулы и нервы, превзойдите свои цели, превысьте самих себя! Меняйтесь постоянно: будьте иными: таков высший закон судьбы и ваше святое назначение. Воспряньте духом и сердцем! *Sursum mentes et corda!* Ведь дело идет о замене старых нравственных идеалов, обратившихся чуть ли не в дырявые лохмотья, идеалами более прочными и долговечными,

дело идет о создании нового добра, иной добродетели, другого права! Разумеется, и тут все сводится к тому, чтобы против одной силы выставить другую: победа в конце концов, всегда принадлежит силе большей.

Слово «сила» оскорбляет, коробит всех хилых, немощных, всегда ожидающих, по-видимому, что сила меньшая возьмет в конце концов перевес над силой большей. Но подобного чуда никто не видал и никогда не увидит. Только те, чье слабое зрение обнимает самый узкий кругозор фактов, могут мечтать извлечь выгоду из смешения различных ступеней непогрешимости иерархии сил. Так поступает обыкновенная толпа, *vulgus pecus*, охотно принимающая проявления силы физической за проявления силы нравственной, и наоборот.

Конечно, в борьбе между силами одного и того же, например, сверхорганического или духовного порядка, зло может — и даже легко — осилить добро: ненависть, например, может одержать победу над жалостью и состраданием. Для этого нужно только, чтобы злые чувства были интенсивнее чувств добрых, или чтоб они раньше последних достигли периода зрелости и полного расцвета. Но бывает также — и это, может статься, случай самый общий, всего чаще повторяющийся, — что мы упорно продолжаем включать в рубрику, ставить под знак добра и добродетели побуждения и действия, являющиеся лишь древним выражением силы, вполне индифферентной, совершенно безразличной к добру и злу. Издавна чтимые как добрые или нравственные, такие душевные состояния — например, исключительная, ревнивая любовь, или мелочно-эгоистичные чувства сострадания и жалости — в настоящее время, под влиянием увеличившейся суммы наших психологических и социальных знаний, уже явно просятся в противоположный разряд, куда они мало-помалу и переходят, где, в сознании лучших людей, они и становятся под знак зла и порока. Но при таких условиях, когда дело очевидно идет о победе одной формы зла над другою, не может быть и речи о каком-либо торжестве порока над добродетелью. В особенную заслугу этики Ницше надо поставить то, что она ярко выдвинула вперед и разъяснила указанный сейчас общий случай, обнимающий огромное число фактов нравственного порядка, и прежде всего, разумеется, проявления нашей умственной лени или нравственной косности. Мы слишком часто продолжаем считать злом побуждения и поступки, носившие это название в прошедшем, и во все не обращаем внимания на то, что ныне, благодаря прогрессу

психологических и социальных знаний, мотивы эти и действия заслуживают уже диаметрально противоположной оценки.

Не знающая границ нравственная смелость Ницше всецело зиждется на его необыкновенной преданности идее прогресса. Вместе со Спинозой, Ницше на мой взгляд является одним из самых горячих поклонников совершенства во всех его видах. В числе перемен, представлявшихся ему не только желательными, но и осуществимыми, одна заслуживает особого упоминания. Ницше требует от истинного мудреца, — от изобретателя новых нравственных ценностей, чтобы он, наконец, сбросил с себя маску ученого смирения, тихой покорности, благоговейного уважения ко всему, что долго существовало и продолжает существовать, маску, придававшую ему ложный вид аскета и консерватора. Ницше хочет, чтобы философы открылись миру такими, какими они являются по самой природе своей: отважными, склоненными к разрушению и надменными властительными, резвыми, жизнерадостными. Скрытность и лицемерие могли быть полезны первым пионерам созерцательной мысли, в те далекие эпохи, когда люди смотрели на всякое знание как на что-то подозрительное, опасное, нечестивое, святотатственное, и когда наука только ползком, так сказать, или на коленях прокладывала себе узкий, тернистый путь, *angusta via*. Но ныне вся эта осторожность обратилась уже в простой пережиток прошедшего, и прибегать к прежним приемам не позволяют элементарнейшие правила чести. По мнению Ницше, возвестители всякого нового Евангелия только напрасно унижают себя и свое дело, стараясь уверить людей, что их учение не отменяет, а подтверждает старый завет. Это — неправда, ибо нравственная истина, подобно истине логической, всегда одна: она не терпит двойственности.

Как бы то ни было, впрочем, но мир услышал голос, который два столетия перед тем, в лице Спинозы, и полвека тому назад, в лице Штирнера, еще вопиял в пустыне. Он не остался глух к красноречивой проповеди Ницше. Он даже, по-видимому, довольно благосклонно отнесся к его грозному боевому призыву. Все это, на мой взгляд, доказывает, что душевное состояние, которому было дано название «ницшеанской тоски», не только не представляет собою единичного или изолированного факта, а составляет явление, широко распространенное; все это свидетельствует о том, что времена свершились, что мы живем среди полного нравственного кризиса, что век социологии не прошел даром, что традиционной этике, как всем прочим формам чистого эмпиризма, в науке, в философии, в ис-

кусстве и даже в технике или практической деятельности, нанесен тяжелый, ничем непоправимый удар. Все это, наконец, доказывает, что Ницше, может быть, и не ошибся, предсказав, что «смерть нравственности», не только унаследованной нами от предков, но и утилитарной этики, будет «тем великим зрелищем в ста действиях, которое не сойдет с афиши исторической сцены в течении двух следующих столетий» — «зрелищем ужасным, прибавляет он, но вместе с тем и полным чудных надежд».

X

Я не намерен проводить здесь параллели между Ницше, этим Бисмарком нравственности, и Бисмарком, этим Ницше политики или прикладной морали. Но я немного ошибусь, думается мне, сказав, что и великий практик был, подобно великому теоретику, сыном своего века, продуктом своей эпохи. Берлин, Грейфсвальд и Геттинген, Кант и Гегель, Конт, Шопенгауэр, Дарвин и Спенсер, Ренан и Пастер¹⁴, биология и химия, чудеса современной механики, все это не могло не оставить следа, все это должно было так или иначе отозваться в мозгу молодого померанского Junker'a. Конечно, эти разнообразные влияния не вызвали в душе Бисмарка ничего похожего на то крайнее напряжение умственных сил и на те грозные, разрушительные бури, величественное зрелище которых так пленяет нас в произведениях Ницше. Яркие лучи современного гения, как то сразу воспламенившие художественный темперамент Ницше, лишь слабо и поверхностно согрели расчетливый упрямый, замкнувшийся в узкий круг материальных интересов ум Бисмарка. Но и в эту грубую почву запали — и выросли в ней, дали плод — семена нравственного скептицизма, который скоро и превратился в полное презрение ко всем наиболее чтимым людьми этическим идеалам. Политик и социолог неожиданно встретились на перекрестке, где дороги их на минуту сходились. И именно тут каждый из них сразу нашел множество последователей: — факт, невольно наводящий на мысль, что дело в обоих случаях шло о чувстве или настроении, уже смутно разделявшихся массой людей.

Ницше и Бисмарк, эти во многих отношениях, противоположные полюсы — играют одну и ту же роль предтечь и предвозвестников. Учение одного из них и действия другого одина-

ково являются знамением времени, признаком, которому нельзя отказать в серьезном значении.

Кличка антихриста, которую в разное время и по разным поводам были удостоены и Ницше, и Бисмарк, вовсе не так странна и нелепа, как может показаться с первого раза. Дело ведь и подлинно идет о кончине мира — нравственного мира наших предков, и о суде, который, не будучи ни страшным, ни последним, явится, тем не менее, почти всеобщим и будет иметь решающий характер. Постановленный им приговор должен будет коснуться всех известных нравственных ценностей, между которыми, волей или неволей, придется сделать выбор, которые придется распределить на две большие категории: в одной найдут место оценки, обязанные своим существованием главным образом разуму, логические, объективные; они, по всей вероятности, всецело сохранятся; в другую попадут оценки, обязанные своим происхождением главным образом чувству, сентиментальные, субъективные; они, надо думать, бесследно исчезнут.

Конечно, человеческие общества не в первый раз приступают в подобным пересмотрам своих понятий о добре и зле.

Нравственные кризисы явление весьма нередкое в истории, явление, которое было уже часто описано. Но угрожающий современному европейскому человечеству кризис представляется особенно серьезным и чреватым последствиями не только потому, что он может нанести тяжелый удар культуре, далеко составляющей за собою все известные типы цивилизации, но еще и потому, что он совпадает с событием, которое не смотря на теоретический или умозрительный характер свой, имеет огромное практическое значение. Я говорю о построении, на твердой почве биологического знания, науки об обществе, окончательно порвавшей все связи как с религиозными, так и с метафизическими предпосылками и понятиями. Появление социологии в ряду опытных наук — факт чрезвычайной важности именно по своим последствиям в области практической нравственности. С моей точки зрения, переход от наивного эмпиризма к зрелости и возмужалости во всех главных отвлеченных науках, начиная с физики и кончая биологией, всегда, по необходимости, сопровождался нравственным кризисом, переоценкой основных отношений людей между собою, новыми толкованиями понятий о добре и зле. Посреди этих кризисов и благодаря им крепла, росла, всячески развивалась эмпирическая нравственность, которая лишь тогда хирела и застывала в старых, архаических формах, когда по той или другой причине приос-

танавливалось поступательное шествие положительного знания; из чего следует, по-видимому, что застой нравственный есть простой результат или продукт застоя умственного.

Но если это справедливо, и если движение, охватившее в наше время все отрасли социального знания, достигнет цели, увенчается успехом, приведет к научному построению социологии, то разве можно сомневаться в том, что такое событие повлечет за собою уже не частичные реформы, а целый грандиозный переворот, радикальную перемену во всей совокупности и наших нравственных понятий, и нормируемых ими общественных отношений? Допотопные моральные телеги и старинного фасона дилижансы должны будут наконец уступить место более совершенным способам нравственного общения людей между собой.

Эту величайшую из всех революций Ницше всячески старался — не произвести, что было явно не по силам одному человеку, — а подготовить и приблизить. Вот за это я так высоко и чту его память, за это я так и люблю его как писателя. Он был оздоровителем общественной среды, усердным работником, который, не щадя сил, не покладая рук, выкапывал исполинскую могилу, имевшую принять бранные останки уже начавшего разлагаться — по мнению многих — мира нравственных понятий!

Труд тяжелый, неблагодарный, за который никто не берется охотно. Но движимый тем самым чувством *долга*, которое он так часто и едко осмеивал, Ницше не отступил перед роковой задачей, он старался довести ее до конца. Уже это одно дает ему право на нашу признательность. Но более других должны быть благодарны ему социологи, призванные, по самому характеру работ своих, пересматривать и исправлять эмпирические суждения людей о нравственных ценностях.

Великие художественные дарования Ницше, его поэтический темперамент, привлекательные, возбуждающие свойства его таланта и многие другие качества доставили ему популярность, завоевали ему внимание толпы. Но от внимания до понимания — путь не очень длинный. Всем, что он когда-либо писал своими заблуждениями и противоречиями не менее чем правильными, основательными суждениями, Ницше превосходно готовит своих читателей к восприятию суровых уроков истории и социологии. Он везде в этой области, как я уже заметил, является предтечей.

Впрочем, в своих произведениях, Ницше не всегда — только отрицатель и разрушитель. Он принимается иногда и за работу

строителя. Правда, ведет он ее лихорадочно, поспешно, без плана, без большой последовательности в мыслях... Все это — наброски, эскизы, очерки, которые он намеревался пересмотреть, к которым он собирался вернуться: но смерть, — может быть мстившая ему за то, что подав людям совет жить *без жалости*, он как будто похитил и открыл одну из ее великих педагогических тайн, — *безжалостная* смерть не позволила сбыться этим надеждам.

